

МИХАИЛ ЖАРОВ



скоре после возвращения из Венеции, где его новая картина «Гроза» получила золотую медаль, режиссер Владимир Петров прислал мне письмо, чтобы я освободил вечер — он приедет в

Москву и хочет со мной встретиться, разговор будет о Меншикове. О том, что Петров ставит «Петра Первого», уже было известно из газет.

Я пришел после спектакля. На Балчуге, в холодном ресторане Ново-Московской гостиницы, где-то на самом верху, Петров познакомил меня с А. Н. Толстым.

Очень полный, важный, с длинными волосами поэт, Толстой казался несколько утомленным, и только умные

и ясные глаза, пристально смотревшие через толстые стекла очков, говорили, что он полон сил.

Толстой очень ласково и трогательно похвалил меня за Кудряша и, мотнув головой в сторону Петрова, сказал:

— Я вот ему говорю, чтобы он не искал никого на Меншикова. Мне кажется, я вижу верно. Володь! А? Ты что же молчишь, аль окосел?

— Нельзя хвалить, а то заважничает!

— А ты хвали, если заслуживает, ему будет легче работать!

Вот эти слова из большого и очень интересного разговора, который произошел в этот памятный для меня вечер, я запомнил точно. Мне никогда не приходилось слышать такую ясную и простую истину.

Налив мне большую рюмку и ткнув в меня пальцем, что означало: «За твое здоровье», Толстой молча и со вкусом выпил такую же.

Разговор о Петре был очень интересный и нужный. Потом, примерно месяца через три, когда начались уже съемки, я часто в мыслях возвращался к добрым советам, которые давал мне Алексей Николаевич.

Но практически эта встреча была только знакомством, смотринами — Толстой хотел со мной встретиться после «Грозы» и «прикинуть» для Меншикова.

Сценарий не был еще закончен. Пробы, вернее — предварительный отбор, производились только с кандидатами на роль Петра. Было уже заснято много актеров. Н. Симонов еще не был утвержден. В. Петров посоветовал мне перечитать роман, а Толстой назвал мне добавочную литературу, и мы расстались.

* * *

Как будет со мной дальше, я не знал — будут ли пробовать или же, по рекомендации Толстого, просто заключат договор? Но вот наконец получаю долгожданную официальную телеграмму, в которой мне предлагают приехать для переговоров о роли Меншикова и для пробы на эту роль.

Как забилося мое сердце, знают только актеры. Ах, как застучало ретивье, когда я опять вошел в уже зна-

комый мне кабинет В. Петрова. Теперь на стенах у него висели не эскизы к «Грозе», а портреты Петра Первого. Их было очень много, и все разные и все непохожие один на другой, хотя что-то общее их все и объединяло, — по-моему, усы.

Петров, закурив свою любимую «Тройку», сидя за заваленным всевозможными книгами столом и как бы извиняясь, сказал:

— Надо будет пробу сделать для художественного совета. Просят... да я думаю, и тебе будет интересно поискать грим.

«Ага, — пронеслось у меня в голове, — понимаю, это он золотит противную пилюлю пробы... Так, значит, Толстой зря обещал мне роль — без пробы. Кого-то еще хотят взять». Но я, очень мило улыбнувшись, поспешно сказал:

— Да, да, конечно, мне интересно поискать, очень! Я пойду к гримеру, поищу, глядишь, и найду!

Но Петров, этот выдавший виды человек, хитро улыбался и, протянув мне коробку «Тройки», сказал:

— Ходить тебе не надо, отдохни! Покури! Вот сейчас придет Анджан, и мы все обсудим, проверим, прикинем!

— А портреты есть Меншикова? — спросил я.

— Мало, да и то немецкие, для второй серии, когда он был уже шишка важная, сановник. А в первой серии он ведь пирогами торговал, с таких портретов не писали. Придется думать, обговаривать, искать самим.

Пришел А. Анджан, и выяснилось, что, кроме мольеровского парика для пробы на роли сенаторов, у него ничего нет. У костюмеров было тоже не лучше — несколько дежурных костюмов: французский для двора и военный — для офицеров и генералов.

Собравшиеся помощники и консультанты решили, что раз ничего на меня не лезет (все было мало и узко, за исключением одного французского камзола), снять меня во французском парике.

— Кстати, и посмотрим, как ты будешь в нем выглядеть для второй серии, — поставил точку Петров, и я пошел гримироваться.

Между прочим, я узнал, что кандидатов на роль Петра — их было человек двенадцать — пятнадцать — подгоняли по гриму к висевшим портретам, и даже не-

которые были очень похожи, но Алексей Николаевич, как только увидел пробу Симонова, воскликнул:

— Вот это Петр! Не правда ли? Ну конечно, он!.. Утверждаю!

— Но знаете ли, — возразил ему один из консультантов, — он единственный актер, который не похож ни на один из двадцати пяти портретов Петра!

— Неважно, — сказал Толстой, — если Симонов сыграет его ярко и интересно, — а по кинопробе я вижу, что он Петра сыграет именно так, то запомнят его. Это и будет двадцать шестой портрет, по которому, вспоминая Симонова, будут представлять себе Петра.

Грим у меня был несложный: положив тон, Анджан надел на меня серый (белый волос с сединой), очень пышный мольеровский парик. Я взглянул в зеркало и тут же понял, что этот ужасный парик мне противополоказан. Парик, который Анджан величал «вольтеровским», с его буклями и завитушками, при моем русском, круглом носе, круглом подбородке, сидел на мне так же, как на корове седло. Вольтером — как он выглядит на знаменитом скульптурном портрете — я не был! Тем не менее пробу сделали, сделали наспех, без Петрова, сняли крупный план в профиль и анфас, с улыбкой и без оной. Я уехал опечаленный.

Прошла неделя — ни ответа ни привета... Все! Значит, провалили, иначе почему же молчание?

И я отправляю, как мне кажется, ни к чему не обязывающую телеграмму: «Хочу смотреть пробу свободен завтра». Мне отвечают: «Приезжайте».

И никаких обнадеживающих намеков...

...Войдя в группу, я понял, что все рухнуло. Обычно милые и такие разговорчивые ребята и девушки при моем появлении изменились — одни полезли куда-то под стол, поднимать то, что не падало, другие, уткнувшись носом в книгу, с такой старательностью ее разглядывали, как будто это был тот первый экземпляр, который осчастливил человечество.

Я, смотря на их затылки, сказал: «Здравствуйте», но, получив в ответ бормотание, прошел в кабинет Петрова.

Петров, как всегда закулив «Тройку» и выпуская клубы дыма, не глядя на меня, спросил:

— Хочешь смотреть пробу?

— Да!
— Пойдем!

И мы пошли, но не группой, как бывает обычно при хорошей пробе, а вдвоем, медленно и молча, пересекая двор. Чувствовалось, что буквально вся студия жила подготовкой к «Петру». Мы проходили мимо группы статистов, переодетых в костюмы бояр и солдат; делались пробные съемки для пленки, света, фактуры материала.

Мне ужасно хотелось поговорить с Петровым, услышать слова, пусть горькие, но человеческие, слова друга, который мне объяснил бы, что же произошло, но... то Петров сам останавливался и делал какие-то указания, то его останавливали, спрашивая что-то.

«Путь Христа к Голгофе был легче, чем мой, — думал я, направляясь к просмотровому залу, месту, где уже кто-то решил мою судьбу.— Ну хорошо, ладно. Художественный совет меня забраковал, конечно, в этом парике я плох, но почему же холодно произнесенное «нет!», которое я сейчас услышу, так меня терзает? Не потому ли, что до сих пор мне такого «нет» не говорили и... Так, что ли? Да, мне очень обидно, что они не поверили не только мне, но и Толстому, когда этот большой художник увидел, оценил, уверовал в меня и сказал: «Да!» И я хочу понять, кто же прав?»

Когда мы сели, я, собравшись с духом, вдруг совершенно чужим голосом спросил Петрова:

— Художественный совет, конечно, смотрел?

— Да.

— И, конечно, сказали: «нет»?

— Сказали.

Погас свет в зале.

На экране, во всю его длину и ширину, появилось лицо.

Нет! Лицом «это» назвать было нельзя, — появилось что-то крупное, круглое с дырочками, которое высывалось из чего-то, что напоминало куст! Ужас!

Я вздохнул, и слезы закапали сами собой.

Тогда Петров с какой-то нежностью, совершенно для него несвойственной, положил мне руку на колени и очень ласково сказал:

— Ну что же ты так расстраиваешься? Ну, действи-

тельно, этот парик тебе не к лицу. Ну и что?.. На, возьми этот ролик и сожги его, уничтожь!

— А... Толстой видел?

— Да, видел.

— Боже, какой ужас! Что же он сказал?

И тут Петров мне рассказал, как Толстой сначала молча смотрел, потом попросил показать еще раз и вдруг начал дико хохотать:

— Нет! Вы только посмотрите: ведь это же великолепно, какой предметный урок! Вот что получается с русской головой, если на нее натянуть французский парик! Смешно!

— Так и сказал?

— Да! Лицо-то, говорит, конфликтует с буклями и в знак протеста вываливается из парика!

— Ну и что же решили? — робко спросил я.

— Отдохотавшись, он сказал: дайте ему сценарий, и пусть работает.

— Как работает? Значит? Я буду...— замер я.

— Значит, ты будешь сниматься в роли Меншикова!

— А как же художественный совет?

— Художественный совет капитулировал. Толстой взял над тобой шефство.

Я уткнулся в платок, чтобы никто не видел, что и драгуны тоже плачут.

— Ну зачем же вы меня так мучали, это безжалостно! — упрекнул я Петрова.

— А ты что же хочешь, без мук и трудностей? Пришел, увидел, победил? Нет, брат, так не бывает! Иди сейчас к Анджану, и начинайте работать над гримом по настоящему. Затем зайди в костюмерную, сними мерку и посмотри там эскизы твоих костюмов. Потом сговорись с Лещенко, надо начинать тренировки на лошади. Ведь Меншиков — драгун! Работы будет много, только успевай поворачиваться.

* * *

И чем больше он находил трудностей, которые меня ожидали в процессе работы над ролью, тем больше ликовала моя душа! Она пела потому, что мир, на который я смотрел до этой минуты через черные очки, оказался

не такой уж мрачный и отнюдь не без добрых людей. Я обнаружил среди них множество благородных, полных веры в человека. Я ощутил прилив огромной благодарности и любви к Владимиру Михайловичу Петрову и к Алексею Николаевичу Толстому. Писатель увидел во мне черты и характер, нужные для воплощения своего любимейшего героя—Алексашки Меншикова, и, поверив, что я сумею их воплотить, не отступил от своего мнения даже при виде этой ужасной пробы.

Да, это он, Толстой, воскресил во мне веру в свои силы, вернул мне радость творчества, без которых не может жить и работать актер. Он излечил меня от травмы, от тяжелого потрясения.

И я вспомнил другое событие.

...Мне было лет восемь-девять, когда, упав с лестницы, я переломил правую руку. Это был третий перелом одной и той же кости.

Дежурный хирург Старо-Екатерининской больницы, куда меня привезли, осмотрев мою руку, сообщил родителям, что руку надо немедленно отрезать по локоть. И в это время в операционную с группой студентов вошел главный хирург Старо-Екатерининской больницы профессор Петр Александрович Герцен. (Позже я узнал, что он был внуком А. И. Герцена.)

— Что за шум? Почему все плачут? (Плакала моя мама.)

Тот ему объяснил — третий перелом, костная мозоль.

— Что же вы предлагаете?

— Ампутировать по локоть!

— Да? — И, взяв мою руку, Герцен начал ощупывать сломанную кость, потом сказал: — Пинцет, — вынул маленький осколок кости, который, прорезав кожу, торчал наружу, потом крикнул: — Гипс! — а сам в это время осторожно, как ювелир, соединял сломанные кости. Вправив, он уверенно забинтовал руку гипсовым бинтом.

Вся операция происходила тихо, как во сне, и первое, что я услышал, были слова, обращенные к дежурному:

— Как же так можно? Ведь он еще ребенок, у него вся жизнь впереди, а вы ампутировать...

Все это я рассказал вечером Алексею Николаевичу.

— И вот мне кажется, что между хирургом и писателем есть много общего. Благодаря своей чуткости, чело-

вечности и любви к людям хирург вернул меня обществу, сделав трудоспособным, а вы... И подумать только, что я мог бы быть жертвой невнимания, а вы со своим большим сердцем вмещались и сохранили...— И тут, набрав бóльшую, чем надо, «высоту» пафоса, я замялся и, промямлив что-то вроде: — Сохранили творческую индивидуальность,— остановился, покраснел и стал мокрый как **мышь**.

Толстой, который очень внимательно слушал мою напыщенную тираду, не улыбнулся, а, покачав головой, сказал:

— Да, была бы беда... С Герценом тебе действительно в жизни повезло... Судьба, говоришь? Ай-яй-яй, как бывает интересно! — И он задумался.

Однажды мы сидели за столом у Толстого.

Разговор в этот вечер как-то не клеился.

Граф был явно не в духе!

Зато Людмила Ильинична была очень любезна, внимательна и все время угощала нас крепким чаем.

— Михаил Иванович,— обратилась она ко мне,— какой же вы решили сделать грим для молодого Алехашки?

— Не знаю... Ищем! Мне кажется, что надо идти от жизни,— соратники и приближенные всегда старались подражать своему начальству. Мне кажется, что и Меншиков старался: и волосы зачесывал назад, и усы отращивал по-кошачьи, как у Петра, но только у него все было моложе и озорнее, брови, мне кажется, торчали кверху, как будто собирались улететь.— Мин херц! — вдруг неожиданно назвав его так, обратился я к Толстому.— Я прочитал, что один иностранный дипломат на ассамблее у Меншикова очень назойливо приставал к Петру с каким-то вопросом. Петр не хотел отвечать ему и сказал Меншикову: «Не надо его здесь, на ассамблее, задерживать!» Меншиков, выполняя волю царя, деликатно выпроводил чрезмерно любопытного дипломата со второго этажа. И вот дипломат, описывая в своих воспоминаниях этот случай, пишет, что «Меншиков, этот рыжий дьявол с огненными глазами, меня толкнул».

— Верно рассказал, так было!

— Так вот, мин херц, я не могу расшифровать, почему «рыжий дьявол» и почему с «огненными глазами»?

Толстой покосился на поставленный ему стакан чая, сердито его отодвинул и сказал, сунув в рот трубку:

— Можно себе представить, как Меншиков «выпроводил» дипломата с лестницы, если он показался ему «рижним» да еще с «огненными» глазами. Представляешь, что там было?

— Но почему же дьявол?

— Ну, а дьяволом он его просто обругал, когда, сидя внизу на площадке, почесывал задницу! А вот насчет сходства с Петром? Что ж, это стоит подумать. Маленькие усики штопорком и буйный зачес волос дадут стремительность, и летящие брови тоже хорошо! А? Владимир Михайлович, как ты думаешь?

И Петров сказал:

— Посмотрим! Увидим! Посоветуемся! Они с Анджаном сегодня что-то уже делали. Взглянем на фото! Поговорим! Проверим!

Пришлось осторожно, изменяя деталь за деталью, уравновешивать прическу с бровями, брови с усами, а все вместе с лицом и костюмом, пока не сказали все, в том числе и члены художественного совета: «Вот теперь хорошо!»

Вскоре начались съемки, все заработало, и Толстой уехал в Карлсбад (Карловы Вары) лечиться. Советоваться было не с кем. Но даже в те короткие встречи, которые состоялись, он умел двумя-тремя меткими сравнениями, хлестким определением или даже просто вовремя прозвучавшим одобрительным смехом раскрыть целый новый мир в жизни образа и взбудоражить надолго фантазию.

Вспоминаю еще случай: снимали эпизод «Взятие Нарвы» в Озерках, под Ленинградом; была построена декорация — часть крепостной стены, ворота, мост через ров и всевозможные укрепления. Драгуны Меншикова после его короткого, но темпераментного призыва: «Солдаты! В крепости вино и бабы! Вперед! За мной! Ура!» — устремляются в атаку.

Съемка была сложная и трудная — в атаку шли рысью, переходя на аллюр галопа, причем, выскакивая из-за дюны, с ходу делали резкий поворот в сторону съемочной камеры. Под дюной образовалась от лошади-

ных копыт песчаная каша, вследствие чего получался толчок, резкое торможение на галопе, и некоторые актеры, некрепко сидящие на лошади, вылетали из седла. Как всегда в таких случаях бывает, стоящим около аппарата зрителям это доставляло удовольствие. В один из таких поворотов, а их было очень много, я увидел среди стоявшей группы Алексея Николаевича и Людмилу Ильиничну, которые, судя по оживлению, вероятно, давно уже наблюдали съемку.

Я к ним подъехал. Толстой стоял в кругу друзей, помолодевший и очень красивый, глаза излучали бездну света, а пухлые губы что-то шептали. Он долго и размеренно тряс меня за руку, потом почему-то вдруг вынул платок, протер очки и высморкался, как делают в тех случаях, когда слезы попадают в нос.

— Людмила! А, смотри, Меншиков-то каков? Красавец! А ну, слезай-ка на минутку!

Я спрыгнул с лошади и попал прямо в его объятья. Навалившись грудью, он крепко обнял меня, а потом, положив руки на плечи, позвал Людмилу Ильиничну и, глядя мне прямо в глаза, сказал:

— Спасибо, дорогой! Хорош... А, Людмила? Теперь уж Меншикова в следующей книге я буду писать с него! — И повернулся к гостям: — Знакомьтесь — живой Алексашка!

— Мин херц! А вы похудели,— вдруг, ничего умнее не придумав, сказал я прорезавшимся голосом.

Все почему-то весело рассмеялись, а Алексей Николаевич, потрепав лошадь по шее, сказал:

— Похудеешь! Промывали насквозь!

— Как насквозь? — спросил я, решив поддержать светский разговор.

— Так, литров тридцать впустят, а двадцать выпустят!

— Двадцать?.. Интересно, а куда же девались остальные?

— Рассасывались! — под дружный хохот закончил Толстой.

За завтраком я поделился с ним тревогами и сомнениями, которые мучили меня.

— И что же тебя беспокоит?

— Не слишком ли я современен, не окомсомолнил ли я Меншикова? Какая-то у меня и лихость, и хватка... современно удалая!

— Так это хорошо! Тебя зритель будет любить за это и принимать великолепно. Комсомол — это молодость! А молодость во все времена и у всех народов есть молодость.

— Спасибо, мин херц! Я тоже так думаю, и даже, скажу вам по секрету, меня вдохновили еще и мушкетеры. Я у них позаимствовал отваги! Они ведь в одной временной горизонтали с Меншиковым — то же время и тот же возраст! Вот мне и показалось, что у них должно быть что-то общее, объединяемое эпохой, а что — я не знаю, чутьем чувствую, что должно, а «теоретическую базу» не могу подвести, и вот вы взяли да подвели — молодость! Ну конечно! Правильно! Именно молодость!

Толстой посмотрел на меня внимательно, как никогда еще не смотрел, губы его вытянулись, глаза округлились...

— Да ты, оказывается, хитрый!

— Какой там хитрый. Вот износил два комплекта костюмов, а аромата эпохи, которым отличается петровский молодой человек от нашего, уловить не могу. Так мне кажется...

Уже кончился перерыв, и меня звали на съемку крупного плана, а у меня еще были тысячи разных нерешенных «но», которые требовали разъяснений.

— Тебе нужен аромат Петровской эпохи?

— Да!

— Чудаки вы, рябчики! Да он кругом здесь, на каждом шагу, в каждом камне, нас окружают петровские чудеса, только успевай поворачиваться. Не умеете ловить аромат, поэтому и не ловится, — сказал он сокрушенно. — Вот поезжай сегодня, не откладывая, после съемки в Петровский дворец, что в Летнем саду, каждый день ведь мимо ездешь, да переночуй там. Вот так, как есть, в костюме. Пригласи Симонова — может, и он поедет — и проведите там вдвоем ночку... Глядь, Петр-то и приснится, аромат-то и появится, если вы еще захватите штоф!.. — закончил он, сочно смеясь. — А я сейчас поеду мимо и все устрою! Хорошо?

* * *

Симонова на съемке не было, и меня отвезли во дворец одного.

Раскинув на полу свой тулуп, я приготовил все ко сну, как в кадре ночной сцены Петра и Меншикова, когда, засыпая, они ведут разговор о России.

Нарезал в деревянную чашку свой ужин, в настоящую петровскую бутылку перелил армянский «коллекционный», зажег свечи в шандале (подсвечнике) и, сев за стол у окна, ждал Симонова.

Передо мной открывался фантастический вид на Неву, Петропавловскую крепость и дальше на Крестовский остров.

В этом районе Ленинград неповторим: утром он как нежный акварельный рисунок — все тона голубовато-розовые, днем они совсем другие — новые, яркие краски и резкие светотени ломают линии строений, придавая им причудливые ракурсы. А красавица Нева как-то особенно мощно и мятежно катит свои волны. Вечером это вновь тихий, прозрачный, романтический, нереальной красоты град.

Может быть, именно здесь, на этом «берегу пустынных волн», стоял Пушкин, когда писал:

Люблю тебя, Петра творенье...

Да, он разнообразен и по-разному красив, при всякой погоде и во все времена года, этот чудесный город!

Я сидел у окна и смотрел как зачарованный.

Окно угловой комнаты создавало для пейзажа естественную рамку, которая так удачно отрезала боковые современные здания, что передо мной предстала как бы величественная панорама старого Петербурга. Таким я его еще никогда не видел.

Старинные часы хрипло отстучали одиннадцать вечера, но было совершенно светло, и свечи горели только для настроения.

В доме стояла необыкновенная тишина, даже не скреблись мыши. Я очень устал, и хотелось спать. Ранняя съемка, волнения встречи с Толстым, атаки верхом давали себя знать.

Симонова, вероятно, не известили, и я, выпив поло-

женное и закусив один, улегся на тулуп. Уснул моментально.

Но, как мне показалось, я так же быстро и проснулся от солнечного луча, который бил прямо мне в лицо. Потянулся, открыл глаза... Незнакомая комната, и стены, и окна со странными переплетами рам. Старые дамы, смотрящие на меня с портретов, и я, лежащий на полу в мундире... Все показалось мне сном, и, не желая терять его, упустил, я снова крепко зажмурил глаза.

Разбудил меня стук, кто-то настойчиво и, очевидно, давно стучал. Я быстро открыл. В дверях стоял Алексей Николаевич, свежий, пахнувший утром.

— Разоспался, светлейший! — сказал он, улыбаясь. — А я приехал за тобой!

— Сейчас, мин херц!

Пока я бегал умываться, он успел налить из термоса кофе и развернуть пакет с едой.

— Закусывай. Вот и поедем на съемку, уже шесть часов. Чудесное утро!

Я смотрел в его добрые глаза. В эту минуту он был для меня самым дорогим человеком.

— Алексей Николаевич!

— Ну что?

Я молчал. Он посмотрел на меня и, похлопав нежно-нежно по руке, сказал:

— Ну, ну! Утри нос и ешь! Ишь, как тебя разобрало!..

* * *

Выпуск первой серии «Петра Первого» был огромной удачей советского кино. Залы были переполнены. Образ Петра, созданный Николаем Симоновым, был отнесен к явлениям мирового актерского мастерства...

После опубликования списков награжденных орденами работников кино, в том числе и участников работы над картиной «Петр Первый», на студии был митинг. Товарищи очень сердечно и трогательно приветствовали нас, награжденных за создание фильма. Это было первое такое награждение.

Толстой в своей теплой речи, обращенной ко всем кинематографистам, сказал:

— Я всегда горячо верил и любил творческий коллектив «Ленфильма» и не ошибся, когда заявил, что первые съемки «Петра» дают мне возможность сказать: я спокоен за судьбу картины!

Говорил он сердечно и взволнованно:

— Спасибо за труд вложенный, за сердца горячие и за ум, все постигающий! Про таланты я уж не говорю! — И он махнул рукой в сторону актеров.

* * *

Была война. И вот однажды, в 1942 году, снимаясь на аэродроме в Алма-Ате, где шли заключительные натурные съемки «Воздушного извозчика», я увидел машину, из которой вышли Алексей Николаевич и Людмила Ильинична.

— А я пролетом (кажется, он сказал, из Ташкента), лечу в Москву, и узнал, что ты здесь снимаешься, приехал навестить!

— Спасибо, мин херц!

— Мин херц! — сказал он, как будто что-то прикидывая. — Мин херц!.. Слушай! Я привез тебе пьесу «Нечистая сила»! Не перебивай — знаю, что скажешь! Я ее заново переделал, осовременил... Вот Людмила говорит, что читается с интересом. Я хочу, чтобы ты сыграл Мардыкина, помнишь, Борисов его играл? А? Как ты смотришь, ее интересно сыграть в Малом, а? Может, и поставишь сам. Держи!

Подошли товарищи, и разговор стал общим. Примерно минут через тридцать, посмотрев на часы, он заторопился, и мы простились.

Захлопывая за ним дверцу машины, я не знал, что вижу в последний раз Алексея Николаевича, дорогого мне человека, который, улыбаясь и нежно помахав рукой, растаял вместе с машиной в густой алма-атинской пыли...

Я остался один. Съемка кончилась. Солнце, крупное и красное, каким оно не бывает в России, торопилось опуститься за хребет синих гор. Стало сразу холодно...

И я вспомнил: взятие шведской крепости, горнист, кони, ядра. Я скачу! Толстой гладит лошадь.

— Спасибо, дорогой, удружил! — слышу голос Толстого.

— Спасибо вам, человек с большим сердцем! — шепчу я.

И еще вспомнилось:

Кремль. Получаем ордена. Слушаем М. И. Калинина. Толстой стоит рядом со мной.

— Спасибо! — говорю я Михаилу Ивановичу, принимая орден. И неожиданно для себя тихо прибавляю: — Мин херц!

Толстой жмет мне руку...

Как будто все это было вчера — не было войны и не было сейчас вот здесь, с нами, великого русского писателя, такого простого и бесконечно любившего людей, человека, который торопился на фронт как член Комиссии по расследованию фашистских злодеяний.

— До свидания! Мой отец, мой шеф, дорогой Алексей Николаевич, — шептал я.

Но нет! Не суждено мне было больше с ним свидеться. Вот, очевидно, почему мне тогда вдруг захотелось плакать...

1956